



Василь Быков

Мертвым не больно

ФТМ



Василий Владимирович Быков

Мертвым не больно

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=183947

Василь Быков Альпийская баллада. Мертвым не больно. Карьер: Эксмо;

Москва; 2009

ISBN 978-5-4467-0108-7

Аннотация

«Звонит телефон, и она берет трубку.

Мы враз притихаем. Навалившись на отполированный, широкий, точно прилавок, барьер, мы с нетерпением ждем ее слова, которое должно либо разочаровать нас, либо обрадовать. Вообще-то мы готовы ко всему, было бы только что-то окончательное. Хуже всего в жизни – неопределенность: она отнимает волю к действию. Но женщина, словно избегая того и другого, озабоченно хмурит тонкие подведенные брови. Минута внимания, торопливые отметки в бланках, что лежат перед ней на стекле, скупые профессиональные вопросы кажутся необыкновенно долгими. Наконец она отрывает от уха трубку...»

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	13
Глава третья	21
Глава четвертая	32
Глава пятая	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Василь Быков

Мертвым не больно

Глава первая

Звонит телефон, и она берет трубку.

Мы враз притихаем. Навалившись на отполированный, широкий, точно прилавок, барьер, мы с нетерпением ждем ее слова, которое должно либо разочаровать нас, либо обрадовать. Вообще-то мы готовы ко всему, было бы только что-то окончательное. Хуже всего в жизни – неопределенность: она отнимает волю к действию. Но женщина, словно избегая того и другого, озабоченно хмурит тонкие подведенные брови. Минута внимания, торопливые отметки в бланках, что лежат перед ней на стекле, скупые профессиональные вопросы кажутся необыкновенно долгими. Наконец она отрывает от уха трубку.

– Товарищи, мест нет.

Над барьером – трудный, продолжительный вздох, разрозненные движения уставших от долгого стояния людей.

– И не будет?

– Не могу сказать.

Снова неопределенность? Жаль.

А гостиница добротная. Считай, в самом центре. С одно-,

двухместными номерами. Белокафельными ваннами. Зеркальной желтизной паркета. Царской ширины кроватями в номерах. В длинных, на целую улицу, коридорах такие же длинные мягкие дорожки. Между этажами снуют быстрые лифты. Вежливые тети-горничные первыми здороваются с постояльцами. Такое запоминается. Особенно провинциалу, который раз в год попадает сюда по делам службы. Правда, немного пугает цена, к командировочным приходится добавлять из своего кармана. Но изредка это можно себе позволить. Тем более в годовщину Победы. К тому же выбирать не приходится – в других гостиницах давно уже ни одного места.

Вот только это ожидание...

Напротив за круглым столом освобождается стул (кто-то не выдержал), и я вылезая из очереди. Лысый, сутуловатый человек с «Известиями» делает за мной шаг вперед. Он бережет место, а мне уж невмоготу: ноет нога. Мой мучитель – протез – с первого же шага противно скрипит. Сосед сзади опускает газету. «Молодой, а гляди ты! Калека...» – наверняка думает он. Я отлично угадываю слова и мысли, которые возникают у людей при виде моего увечья, и мне это, признаться, довольно-таки осточертело. К своей незавидной судьбе я уже привык. Правда, за двадцать лет бывало всякое. Случалось, и мучился. В самом деле, еще подмывало припустить за мячом, как стал инвалидом.

Стараюсь ступать как можно ровнее. Кажется, получается

лучше, во всяком случае тише. Но скользкий паркет выдает мою скованность, и опять – приглушенный скрип протеза. Жуликоватый на вид мастер, который его ремонтировал сегодня, говорил, что «притрется». Но вот не «притирается». За столом молодой парень в таком же пестром, как и на мне, пиджаке уважительно подбирает ноги.

– А вы бы ей документы показали. Зачем торчать в этой очереди?

Как всегда, от чужого сочувствия становится немного не по себе, и я бормочу что-то виновато-неразборчивое.

– Должны найти. Неужто для инвалида войны не найдут одного места? – говорит он и, нахмурившись, начинает приводить в порядок ногти.

Я не очень ловко опускаюсь на стул. И откуда ему известно, что я – инвалид войны? А может, несчастный случай? Нарушение правил техники безопасности? Хотя, конечно, выдает возраст...

Парень между тем держит себя так, будто больше меня не замечает. Все его эмоции скрыты под маской холодной сдержанности. Но я чувствую: ко мне он дружелюбен, только маскирует это свое чувство, так же как и любопытство. Почему-то в отношениях между мужчинами так принято, будто выдать свое расположение – слабость.

А мне он чем-то положительно нравится. Может, именно вот этой замкнутостью, которая всегда заставляет предполагать серьезность и независимость характера. Хотя мо-

лодости, пожалуй, больше импонирует искренность. Серьезность и характер приходят с годами, а у молодых подкупает открытость. У этого же сосредоточенное, не очень располагающее к себе лицо. Аккуратная свежая «канадка». На лацкане однобортного пиджака синий эмалевый ромбик. Ясно, технический вуз. Видно, какой-нибудь инженер, приехал издалека по делам производства. Дома молодая жена, ребенок, малогабаритная квартира где-нибудь на верхнем этаже в новом квартале. И, понятное дело, самая интересная в мире отрасль – электроника или радиотехника. Теперь это сфера увлечения многих. К сожалению, мы в таком возрасте занимались другим, потому и остались, по существу, недоучками. Хотя ничего не поделаешь: время было иное. Каждый мужчина мерил свою ценность солдатскою меркой. Артиллерия, танки, авиация – думалось, это надолго, если не на всю жизнь. Но война порешила иначе. Сколько она отняла сил, засушила талантов. И вот результат – сельский культпросветработник. Сорок рублей зарплата.

Парень замечает мой взгляд и мое затаенное к нему любопытство. Дальше молчать нам уж просто неловко. Он вынимает из кармана пачку «Шипки» и привычным жестом протягивает ее мне:

– Курите?

– Нет, спасибо.

– Бросили или не начинали?

– Когда-то начинал, да помешало ранение.

В секундном недоумении он поглядывает на мои ноги, затем более продолжительным взглядом окидывает борты пиджака. Я его понимаю без слов: какая может быть связь между ранением и куревом? Но стоит ли упоминать еще и о ранении в грудь, которое чуть не окончилось для меня финалом? К тому же парень, наверно, ожидал увидеть на пиджаке орденские планки. Конечно, он человек образованный, кое-что читал про войну и, пожалуй, готов видеть во мне героя. Но оттого, что уже надоело объяснять все это, теперь я молчу. Парень прикуривает сигарету и круто поворачивается на стуле. Возле администратора начинается оживление. Не появились ли вдруг места?

Нет, кажется, тревога напрасная. В очередь пробует влезть какой-то простодушный дядька. Он в новой стеганке, с огромным чемоданом-сундуком и полной сеткой батонов. Наверное, из деревни. Становиться в хвост очереди дядька не хочет и плечом и локтем пробует втиснуться между толстяком с пакетом под мышкой и человеком в кожаной куртке. Толстяк с опозданием поднимает тревогу:

– Куда лезете? Куда лезете? Вы где стояли?

– Ну стоял. Ну! А как же, если бы не стоял! Стоял. Что я, врать буду?

– Где, покажите, где вы стояли?

Дядька, видно по всему, нигде не стоял, но он во что бы то ни стало хочет занять место поближе к администратору. К тому же он успел уже просунуть между людьми руку и вце-

питься в никелированный бортик барьера. Теперь дядьку не сдвинуть. Многотерпеливой очереди это, ясное дело, не нравится, и она множеством глаз молчаливо осуждает нарушителя гостиничной этики. Из-за барьера в конфликт уверенно вступает администраторша.

– Дядька, а паспорт у вас есть? – искушенно бьет она в его самое уязвимое место.

Дядька растерянно переспрашивает:

– Кого?

– Паспорт! Паспорт, говорю, у вас есть?

Должно быть, понимая всю сложность своего положения, дядька старается выиграть время. Мнется, дергает плечом, лезет зачем-то в карман, сдвигает на затылок черную кепку. Но очередь ждет, и отвечать, хочешь не хочешь, надо.

– Паспорт? Да это самое... Какой паспорт? Паспорта нету.

– А что же вы лезете? У нас строгий паспортный режим. Мы вас не можем поселить без паспорта.

Дядька внимательно выслушивает женщину. Голос администраторши незлобивый, с нотками сочувствия, обмана не должно быть, и дядьку это повергает в смущение. На морщинистом лбу его бисером выступает пот. Минуту дядька раздумывает, но руки от барьера не отнимает. На всякий случай.

– Вам же русским языком объяснили! – нервничает толстяк. – Вы что, не понимаете? Это хамство, в конце концов.

Однако действительно похоже, что дядька не понимает

или, может, не хочет понять. Тогда из очереди к нему высказывает вертлявый, разбитной с виду человек. Всепонимающим взглядом гостиничного старожила он бегло окидывает дядьку. Черный плащ на его плечах шуршит, как жестяной.

– Я сейчас ему разьясню. А ну, гражданин, чуток в сторонку, чтоб не мешать и так далее. Куда вы встреваете? Вы понимаете? Вы что же себе думаете? А вон, гляньте, милиция. Да не туда смотрите – вон, возле швейцара. Видите? Ну вот! Стоит доложить и... Понятно?

Дядька озабоченно посматривает то на человека в плаще, то на милиционера у входа и начинает оправдываться:

– Да я что?.. Я ничего. Думал...

– А вы не думайте! Вы выполняйте. Порядок положено выполнять. За нарушение порядка – уголовная ответственность. А как же вы думали?

Очередь снисходительно наблюдает за говоруном и дядькой. Это забавляет. Некоторые про себя улыбаются. Ишь, «заливает»! «Заливает» действительно неплохо. Видно, опытный спец по такого рода делам, так как дядька вскоре, оглядываясь, боком подается к выходу.

– Дремучий народ! – пожимает плечом человек и облакачивается на барьер. – Так и норовит обойти закон.

– Законник! – язвительно проговаривает мой сосед и вытягивает под столом ноги.

«Законник» откровенно плутовским взглядом снизу вверх окидывает администраторшу и налегает на барьер. Че-

рез минуту он уже сыплет там шутками. И все у него получается легко и просто. Со стороны кажется: весельчак-человек! Не то что остальные, в дремотном ожидании понуро стоящие возле барьера.

Мой сосед, однако, придерживается иного мнения.

– Развелось паразитов... Думаете, он так себе увивается? Тоже хочет без очереди влезть. Разве не видно?

Кто его знает? Возможно, и так. Минуту я наблюдаю, как он распинается перед администраторшей. Но очередь молчит, ничего плохого не подозревая, и я отворачиваюсь.

Сосед откидывается на спинку стула.

– Приспособились, как микробы к антибиотикам. Ни уголовным кодексом, ни дружинниками, ни милицией – ничем их не проймешь.

Это, конечно, верно. Но мне как-то неловко хаять человека, которого совсем не знаешь. Парень подвигается на угол стола.

– Скажите, вот вы воевали. Неужто так же было? Или там все-таки по-другому с ними обращались?

Да, видно, на войне было несколько проще. Подлость там более заметна. Перед смертью, ясное дело, маскироваться труднее. Но такого рода типы приспособливались и на войне. Парень с легким недоверием выслушивает меня, вздыхает и вдруг окончательно сбрасывает с себя маску отчужденности.

– И все же я завидую вам.

Это у него вырывается по-мальчишески просто и так есте-

ственно, что не оставляет никакого сомнения в искренности. И хотя я уже не первый раз слышу подобное, все же не могу не удивиться: чему люди завидуют? Знают ли они то, о чем говорят? Парень коротко поясняет:

– Вы если на что решались, так без оглядки. Не кривя душой. Если уж били, то размахнувшись – и до обуха!

Отчасти так, но на деле все было сложнее. На войне не слишком лицемерили, это правда. Но ударить на полный взмах не всегда удавалось. Были причины, которые придерживали за руку. Мой сосед курит, сквозь дым выжидательно поглядывает на меня. Я же молчу. Видно, надо ответить. Но одной фразой не обойтись. Нужен долгий разговор, который тут не к месту.

Глава вторая

В вестибюле приглушенный говор, стук дверей, то и дело доносится грохот машин с улицы. По ту сторону большущего окна безостановочно снуют люди. К вечеру на дворе потеплело. Унялся ветер. После долгих дождей распогодилось, подсохли тротуары. Кажется, началась несколько запоздавшая, но оттого еще более желанная весна.

Но вот в гостиничную суету врываются нездешние голоса – незнакомые слова, чужой напевный акцент. Несдержанный женский смех многих заставляет оглянуться. Толпа туристов, неторопливо вливаясь сквозь двери, заполняет просторный вестибюль. У подъезда за стеклянными дверями высится огромный, в эмали и никеле, заграничный автобус.

Возле барьера умолкают разговоры, лица поворачиваются к входу. Туристы не спеша, степенно и даже с какой-то ленцией вносят свои сумки, чемоданы, пледы. Усердствуют швейцары. На середине вестибюля, возле колонны, складывается багаж – целая гора из чемоданов. Мой сосед определяет:

– Французы! Нет, итальянцы! Хотите посмотреть?

Предусмотрительно оставив на стульях газеты, мы встаем и подходим к ним ближе. Туристы на нас не обращают никакого внимания. Они преисполнены собственных впечатлений. Изящные женщины в брюках и клешах и все в туфлях на

остреных шпильках смеются и курят. Роскошные черные, светлые, рыжие прически. Ярко покрашенные губы. Чернявые плечистые мужчины великодушно сдержанны, как мудрецы среди строптивых кокеток. Что ж – у них праздник: поездка, новая страна, про которую они столько наслышаны и теперь только ее увидели. Озабоченность и суету будней они оставили дома. Завидная черта характера – отграничивать будни от праздников, беспокойство от радости. У нас, к сожалению, так не получается. Видно, в нашей истории слишком много такого, о чем не просто забыть. И потому даже в годовщину Победы печать пережитого незримо лежит на нашем настроении.

Мы молча стоим возле гардероба. Мой сосед с любопытством всматривается в лица иностранцев. Это интересно – постигать скрытый смысл характеров. Но я и не пытаюсь. Французы, англичане, итальянцы для меня – закрытая книга. Их сущность где-то вне сферы моего понимания. Другое дело – немцы. С немцами мы пережили общее несчастье. Они нам причинили немало горя, но мы незлобивы: пусть живут на здоровье. Главное, чтоб в мире. За прошлое, сдается, мы расквитались.

Однако мы зазевались. Пока туристы толпились в ожидании чего-то, мимо нас быстрым шагом проходят один, другой – от барьера. В руках – знакомые бланки пропусков, кажется, появились места. Я круто оборачиваюсь назад и едва не сталкиваюсь с «законником». Он обдаёт меня жестяным

шуршанием плаща и бежит к лифту. На лице озабоченность. Маску оживления и легкости он уже сбросил за ненадобностью. Я удивляюсь:

– Смотри, отхватил?

Парень иронически хмыкает:

– Ну! Я же говорил.

Мы подбегаем к очереди и конечно же опаздываем. Мест нашлось только четыре, и все они розданы. Четверо счастливых уже на этажах. В том числе и тот, без очереди.

Остальным опять ждать.

Одно место за столом пустует. На моем же сидит усталая с виду немолодая женщина. Сосед, неловко потоптавшись, молча отходит к барьеру. Я опускаюсь на его стул.

Очередь возмущается. Особенно теперь, когда «законника» уже и след простыл. Когда он уже располагается в номере. А они спорят. Странные люди! Когда же он лез к администраторше, тогда все молчали, а теперь размахались руками.

– Безобразие!

– В книгу жалоб им записать!

– Хамство!

Особенно возмущается один. Кажется, ему едва не перепало место. Теперь он, надвинув на лоб зеленую велюровую шляпу, сердито топчется возле барьера. Длинные полы его легкого пальто широко распахнуты.

– Возмутительная наглость!

Сунув руки в карманы, он нервозно поворачивается от ба-

рьера и бросает на меня невидящий взгляд. И вдруг у меня перед глазами вздрагивает и расплывается горячий, знойный туман. Тугой колокольный удар в ушах миготом отбрасывает меня в прошлое. В смятенном сознании вспыхивает одно только слово – «Сахно». Нет, я не вспомнил этого человека, просто я никогда о нем не забывал. И теперь вот он – в пяти шагах от меня. Несколько обрюзгший с лица, бровастый и по-прежнему угрожающе-решительный. На голове небрежно надета шляпа. Китайское габардиновое пальто не застегнуто и низко свисает полами. На желтых ботинках лежат светлые обшлага брюк. «Широковаты», – замечаю я совершенно некстати. Окинув меня бессмысленным взглядом, он как ни в чем не бывало поворачивается к барьеру.

Мое вдруг напрягшееся тело расслабляется, и я съеживаюсь на стуле. Какой-то контролируемой частью сознания отмечаю, что растерялся. Никогда не думал, что так можно спастись перед ним. Впрочем, я совершенно иначе представлял себе нашу с ним встречу. У меня на такой случай были приготовлены полные гнева слова, и вот – на тебе! Если бы он теперь подошел и ударил меня, пожалуй, я не нашелся бы, как ответить. Бывает, что наглость парализует. Теперь меня парализовал один вид этого человека.

Однако я все же овладеваю собой и в следующую минуту поднимаюсь со стула. Проклятый протез! Теперь он мешает. Теперь мне нужны железные ноги и стальные кулаки. Видно, на моем лице отражается что-то недоброе. Несколько чело-

век в очереди с готовностью расступаются, и я боком при-
слоняюсь к барьеру. Я уже возле него. Безразличный ко мне,
он гневно наступает на администраторшу:

– А если я за тысячу километров приехал. Так где я ночевать должен? Скажите, где?

– Это не мое дело.

– А чье дело? Вы для чего здесь сидите? – Он отстраняется от барьера и резко поворачивается: ему нужен союзник. – Слышали, не ее дело! Удивительная логика!

Мой вид, должно быть, его охлаждает. Он срывает шляпу и ладонью вытирает мокрую от пота полосу подкладки. Я дико гляжу в его обозленные глаза и чувствую, как горячая волна в моей груди постепенно остывает. Я узнаю и не узнаю. Черт, неужели ошибаюсь? Он с заметным животиком и довольно-таки лысоватый. Тот был при отличной строевой выправке, с жесткой шевелюрой на голове. Глаза наглые, слегка припухшие снизу – видно, пошаливают почки. Рост... Рост почти тот же, только этот гораздо тучнее.

Но ведь прошло двадцать лет.

Преодолев какое-то внутреннее оцепенение, я отхожу. Поодаль от всех расслабленно облакачиваюсь о барьер. Смятение и растерянность мои понемногу проходят. Исподлобья я неотрывно наблюдаю за ним. Он или не он? Несколько опасаясь, чтобы он меня не узнал. Тогда наверняка скроется. Впрочем, узнать меня, пожалуй, не просто. В то время я был почти мальчишкой. Девятнадцатилетний младший лей-

тенант. К тому же я для него – убит.

А он не отстает от женщины-администратора. В край барьера вцепились его пальцы – короткие и толстые. Он впериет в женщину тяжелый взгляд. Я видел его разным: угрожающим, растерянным и омерзительно угодливым. Теперь он обозленно-требователен. Женщина делает вид, что занята бумагами и не замечает его. Но не заметить его невозможно. Наверно, человек знает это и массивной глыбой возвышается над барьером. Уж он своего добьется.

Тягучий, надсадный звон в моей голове медленно отдаляется. Временами я теряю решимость. То кажется – окончательно и бесповоротно: он! То вдруг в его лице появляется что-то незнакомое мне, чужое, первый раз увиденное. Я не знаю, как поступить, и стою. На плечи гнетущей тяжестью ложится усталость.

В этом оцепенении проходит, пожалуй, немало времени, и в очереди выясняется, что мест больше не будет. Люди начинают расходиться. Кто-то предлагает: «Пошли посмотрим салют!» Кто-то не соглашается: «Лучше на вокзал, пока скамейки не заняли».

Очередь быстро редет. Как-то нечаянно я теряю его из виду. Спohватившись, подхожу ближе, оглядываюсь, но его уже нет. Нет возле администратора, не видно в вестибюле. Как будто провалился сквозь землю. Чудно!

Я останавливаюсь перед барьером и ничего не соображаю. В душе такое чувство, будто по моей вине случилось непо-

правимое. Людей становится все меньше. Женщина из-за стола уходит, и оба стула пустуют. Как-то надо собраться с мыслями. Обидно, если все это только показалось. Столько душевных терзаний – и все прахом. А вдруг это он? Что тогда? Что я должен предпринять?

Надо бы все обдумать и что-то решить. Или, не раздумывая, догонять его, обратиться в милицию? Впрочем, милиция здесь ни при чем.

Наконец в вестибюле остается только администраторша за перегородкой и какой-то подвыпивший гуляка. Подпирая спиной колонну, он не может произнести ни слова и тупо смотрит в паркет.

Туристы куда-то ушли. Вестибюль тесно заставлен их чемоданами. Швейцары грузят их в лифт. У входа, возле телефона-автомата, переминаются с ноги на ногу девушка и парень. Звонить не звонят, похоже – выясняют отношения.

Туго бряцает входная дверь, и меня поглощает уличная суматоха. На тротуарах людно. Все куда-то идут, идут, идут – видно, к памятнику на площадь. В ясном предвечернем воздухе – горьковато-скипидарный запах тополиной листвы. Поредевший к вечеру поток машин изрыгает бензиновый чад. Кучка людей возле мороженщицы терпеливо дожидается своей очереди. Тут же бабка с пучком подснежников в старческих руках. Я бреду как лунатик. Начинает болеть голова. Всегда, когда разнервничаюсь, у меня болит голова. В карманах, к сожалению, никакой таблетки. Видно, надо бы

где-то поискать пристанища. Но я почти ничего не замечаю. В растревоженной памяти будто весенним паводком начинают размываться напластования лет и событий. Отчетливо встающие образы воскрешают давнишнее и навеки памятное. Я уже знаю, что от него не отделаться. Его не залить водой, не забыть в бесшабашном разгуле. Оно всегда в сердце, потому что оно – это я.

Глава третья

...Снег. Дорога. Колонна...

Мелькают сапоги, валенки, ботинки. Треплются на ветру заснеженные полы шинелей. Шуршат залубеневшие промерзшие палатки.

– Старший лейтенант Кротов, в голову колонны!

Повторенная зычными, глухими и сиплыми от простуды голосами, катится по колонне команда. Последним ее выкрикивает кто-то из тех, что замыкают колонну передней роты. Выкрикивает и довольно оборачивается, словно для того, чтобы увидеть, какое впечатление на батальон произвел его надсадный, хриловатый, вовсе не командирский голос. Это совсем близко, и я, идя сзади, вижу немолодое, одутловатое от мороза лицо, стиснутое ушами завязанной под бородой шапки. Всматриваясь, боец вытягивает из воротника морщинистую шею и останавливает на ком-то свой взгляд. Тогда и я оборачиваюсь. Командир шестой роты Кротов, опоясанный по телогрейке двумя кавалерийскими портупелями, будто не слыша вызова, с развальцовкой идет по сыпучему снегу обочины. Как всегда, в его темных недовольных глазах излишек командирской строгости.

– Вас – в голову колонны, – говорю я, решив, что ротный недослышал команды.

Кротов, однако, не взглянув на меня, угрюмо бросает:

– Слышу. Не оглох!

Колонна тем временем медленно останавливается. Задние еще устало бредут по растоптанному сотней ног сыпучему снегу, а передние уже спешат использовать неурочный коротенький перерыв и торопливо снимают с себя отяжелевшее за дорогу оружие. Прикладами в снег ставят длинные стволы ПТР, осторожно, рукоятками вниз опускают на землю грузные тела «максимов». Минометчики с явным облегчением сбрасывают с плеч тяжелые ребристые плахи опорных плит. И вот уже кто-то блаженно разваливается на нетронутом снегу полевой обочины, кто-то бредет по нужде в заросли кукурузы, что широким клином подступает к дороге. В предвечерних сумерках над заснеженной степью веет сладковатым, удивительно ароматным и домовитым дымком махорки.

– Ну что ж, перекурим это дело, – говорит все тот же немолодой, видно, старательный боец и с сознанием заслуженного отдыха сворачивает на обочину. Помятые полы его шинели аккуратно подоткнуты, на спине, пристегнутая к вещмешку, пока без надобности болтается каска. Сегодня меня невольно занимают головные уборы, хотя я наверняка знаю, что ни каска, ни шапка мне не подойдут: надо было думать о том раньше. Но раньше о каске я мало заботился, и осколок от немецкого снаряда кромсанул меня по затылку. Правда, ничего страшного не случилось, только после перевязки оказалось, что шапка поверх бинтов не налазит, а каска причи-

няет боль. Так я и остался с замотанной бинтами головой. На беду санинструктор не смекнул заодно забинтовать и уши, которые прошлой ночью изрядно прихватил морозец.

Я тоже схожу на обочину, туда, где стоит пулеметчик из третьего взвода нашей роты с удивительно незапоминающейся фамилией. Это – молодой подвижный боец в низко накрученных обмотках. Зачерпнув серой домашней варежкой чистого снега, он с наслаждением сосет его, поглядывая вокруг живыми глазами. Другой рукой парень придерживает опущенного прикладом на дорогу «Дегтярева».

– Видно, шестую роту в ГПЗ? – говорит он. – Теперь, считай, все трофейчики ихние.

И, сдвинув на затылок шапку, снова черпает снегу. Белобрысое лицо его таит любопытство и сдержанное мальчишеское добродушие. Я молчу. Тот, старший из четвертой роты, также подходит к нам и лаконично соглашается:

– Да, повезло этим...

Он шарит руками в карманах, по-видимому, доставая кисет и провожая взглядом четверых разведчиков, что торопливо идут куда-то в хвост колонны. Разведчики в белых перепачканных маскхалатах, поверх которых висят автоматы и брезентовые сумки с магазинами. Хлопцы заметно спешат, и вид у всех недовольный. Наверно, где-то не ладится с разведкой.

– Марухов, привет! – бросает пулеметчик, узнав среди них знакомого. – Что, шестую в ГПЗ?

– Какой черт – ГПЗ! – зло ворчит передний. – Кротову шею мылят.

Пулеметчик в сдвинутой шапке от удивления раскрывает рот. На его высунутом языке – снег.

– Наверно, за Ивановку? Ага?

– Ага.

– Ну и ну! – говорит пожилой, держа в заскорузлых пальцах кисет с кресалом. – Коли за Ивановку, то похоже – всыпят.

Он начинает скручивать сигарку. В недоуменном любопытстве умолкают бойцы. Кто-то за моей спиной охотно подтверждает:

– Знамое дело. Не первый раз.

Они только догадываются, а я уже с утра размышляю над всем этим делом. Еще на рассвете в Большую Северинку к комбату приезжал особист Сахно. Запершись в хате, они долго обсуждали что-то, вызывали бойцов и сержантов, потом Сахно уехал. Но вот четверть часа назад вдоль колонны проскакал на коне старшина Шашок – ординарец, вестовой или, как там его называют, словом, писарь из штаба. Не остановившись, он спросил у меня, где комбат, и я махнул рукой туда, в голову колонны. Видно, потому и остановили батальон в степи. Кажется, в самом деле этому Кротову несдобровать.

Пулеметчик тем временем утоляет жажду и обивает одну о другую рукавицы.

– Эй, бомболовы! – озорно кричит он бойцам шестой роты. (Их у нас еще с Курской дуги зовут бомболовами, хотя мало кто уже и помнит, что означает это прозвище.) – Через левое плечо кругом марш! В штрафную!

Однако шестая не хочет оставаться в долгу.

– Ага, в штрафную! А кто же тогда вас будет от танков спасать?!

Это – всем понятный намек. Неделию назад шестая фланговым огнем крепко помогла нашей роте, которую атаковали немецкие танки с пехотой.

– Тоже нашлись спасители! Вы ж побратались! – въедливо упрекает пулеметчик.

Но это уж слишком, и я оборачиваюсь к бойцу:

– Ну-ну! Хватит!

Пулеметчик неловко щурится, чувствуя, что переборщил, и мне хочется напомнить ему что-то вроде: «Шути, да знай меру». Однако спереди доносится новая команда:

– Младший лейтенант Василевич, в голову колонны!

Это уже меня. Но зачем? Вроде бы я не замешан в таких малоприятных делах, как Кротов, рота которого недавно заночевала в одном селе с немцами. Случилось так, что «бомболовы» мирно проспали ночь и увидели фашистов только утром, когда те, выстроившись в колонну, подались себе на большак. По крайней мере так рассказывают бойцы. Начальство же, видно, имеет на сей счет иное мнение.

– Ну что! Ага, сами влипли! – услышав команду, начинают

злорадно кричать из шестой.

– Нам не за что! А вот вы...

– А ну прекратите! – приказываю я пулеметчику.

За головами бойцов слышится нетерпеливый голос самого комбата:

– Василевич! Тебя долго ждать?

– Иду, иду!

Придерживая на груди ППС, я устало бегу размятой дорогой. Я не могу позволить себе по вызову идти шагом. Из всех ротных в батальоне я самый младший – и по годам, и по званию. Видно, по этой причине мне от комбата достается больше других, и потому я вынужден всегда поторапливаться.

Комбат сидит на бугорке возле межевого столбика и мерзлым кукурузным стеблем ковыряет в снегу. Рядом, шурша на коленях картой, пристраивается наш уса́тый начштаба. Напротив стоит мрачный темнолицый Кротов, а чуть в стороне, держа за поводья усталого коня, ждет чего-то старшина Шашок. Новенькая, из сизого комсоставского сукна шинелка плотно облегает его широкую спину.

– Ну, как голова? – коротко взглянув на меня, спрашивает комбат.

– Ничего.

– А уши? Спеклись, наверно?

– Немного, – осторожно отвечаю я, не совсем схватывая суть его несколько необычных вопросов. Но чувствую, что

это неспроста.

– Пойдете в санчасть, – объявляет комбат и бьет стеблем по снегу. Снежная мелочь летит на мои сапоги, попадает на чштабу на карту, и тот с досадой стряхивает ее покрасневшей ладонью.

– Товарищ капитан, – пытаюсь возразить я, но комбат не хочет меня и слушать. Как и все командиры на свете, он не любит чужих возражений.

– Пойдешь в тыл. Все равно с такой головой – не вояка.

– Так ведь в роте никого не останется. Вы же знаете.

– Знаю. Завтра Басмак придет. А пока старшина Дорофеев покомандует.

Известное дело, наш старшина может покомандовать и сегодня и завтра, человек он самостоятельный и стреляный. И все-таки мне вовсе не хочется покидать роту и отправляться в санчасть. Если бы он послал меня туда днем раньше, хотя бы прошлой ночью, когда мы мерзли под огнем в снегу после неудачной атаки. А то легко ему теперь ставить на роту старшину, когда части входят в прорыв, огибают немецкие фланги, и уже вон он, Кировоград. Днем из Северинки видны были его пригороды, дымы пожаров и высокие строения, которые штурмовали наши «ИЛы».

– Вот с Кротовым и пойдете, – говорит комбат, кивая головой в сторону командира шестой роты. Тот стоит черный, как земля, и не глядит на людей. – Да еще этих субчиков прихватите. Заодно, чтоб конвоиров не посылать.

Это он про трех немцев, которые плечом к плечу замерли напротив и настороженно поглядывают на начальство. Один из них – простоволосый, без шапки крепыш, второй – без шинели, в мундирчике, с отвисшими карманами и большими профессорскими очками. Третий – пожилой, нерасторопный толстяк, простуженно отирает красный распухший нос. Веселая компания, черт бы ее побрал, думаю я. Удружил комбат, нечего сказать. Комбат же, нарочито не замечая моего неудовольствия, так же как и мрачного вида Кротова, достает из кармана алюминиевый портсигар, густо испещренный резьбой.

– Угощайтесь, старшина, – протягивает он портсигар Шашку.

Тот не заставляет себя уговаривать, делает шаг навстречу и жестом равного берет папиросу. Потом к портсигару тянется рука начштаба. Кротов из-под нахмуренных бровей поблескивает злым взглядом, как мне кажется, тяжело, осуждающе вздыхает. Нам папирос комбат не предлагает. Они втроем молча прикуривают, и старшина, отставив в сторону обувь в немецкий валенок ногу, сквозь дым косится на меня одним глазом.

– Ты что же это, младшой, с таким скрипом приказ выполняешь?

Я поглядываю в его самоуверенное начальническое лицо и, сдерживая в себе злость, молчу. Какое ему, в конце концов, дело, и кто он такой, чтобы делать мне замечания?

Кротов, которого занимают свои заботы, нервно оборачивается к комбату:

– Так мне что? Роту сдавать, или как?

Комбат морщит лоб и старательно раскуривает папиросу.

– Ну почему сдавать? Что это вы уж... Сразу в панику...

– Роты пока не сдавать, – уверенно объявляет старшина, и комбат вслед за ним подтверждает:

– Да, пока не сдавать. Нет такого приказа.

– Дело ясное, – мрачно вздыхает Кротов. – Дело ясное, что дело темное. Ну и черт с ним! Пусть!

Он отчаянно ругается и отходит в сторону, угрюмым видом давая понять, что безразличен ко всему и ничего не боится. Комбат встает с бугра и вытягивает голову, заглядывая в хвост колонны.

– Ну, где там Косенко? Не дождешься, черт побери!

Косенко, которого он ждет, – командир взвода разведки, и я начинаю думать, что, возможно, и его пошлют в тыл полка. С Косенко, конечно, было бы веселей. Парень он решительный и разговорчивый. Только вряд ли его направят с нами – теперь, когда идет наступление, он нужен здесь, впереди.

Тем временем над степью начинает темнеть. Стихает в зимнем небе гул самолетов, становится явственнее шелест кукурузы на ветру. К ночи сильнее донимает мороз, и я поднимаю воротник шинелки. Уши мои теперь как термометр – чутко реагируют на каждый градус похолодания. То и дело трещь их. Не хватало заботы.

Комбат ждет. Однако вместо Косенко на дороге появляется разведчик, который, лихо щелкнув каблуками, останавливается перед начальством.

– Товарищ капитан, лейтенант Косенко коня не дают.

Комбат недоуменно вскидывает русые брови:

– Как это – не дают?

– Не дают, и все. Говорят, хутор надо разведать. Хуторок там впереди.

– Хутор, хутор. Вот и на этом разведает, – тычет он будылиной в сторону коня старшины. – Чем не рысак? А то еще хорохорится. Тоже мне кавалерист!

Разведчик переступает с ноги на ногу. На его круглом, покрасневшем лице ни тени смущения – мол, мне что: лейтенант не дает, а я тут при чем? Но комбат, кажется, этого не понимает и, хмурясь, строго оглядывает бойца.

– Они говорят, пусть старшина Шашок на своей дохляти-не и ездит, коли лучшего не умеет приобрести.

– Вы мне оставьте эти разговорчики! – распаляется комбат и с силой тычет стеблем кукурузы в снег. – Я приказываю! А его дело исполнять. Понял?

– Я-то понял, – охотно соглашается разведчик.

– Так исполняйте!

Рядом стоят, слушая эту не совсем обычную ссору, бойцы, зябко перестукивают каблуками немцы. То на комбата, то на разведчика выжидающе поглядывает старшина. Я терпеливо жду и думаю, что коник Косенко уже, видно, сдох. А ничего

себе был трофейный рысачок в белых чулочках на передних ногах. Однако недолго погарцевал на нем взводный. Раз уж тем приглянулся, то пищи пропало, рано иль поздно отберут. На это они мастера.

Краем глаза я замечаю, как старшина строго поджигает тонкие на мясистом лице губы и что-то решительное появляется в его глазах. И тут он поворачивается ко мне:

– Ладно, вы идите. Берите тех, – кивает он на немцев, – и дуйте напрямки. Я догоню.

Он говорит это почти по-приятельски, и я не знаю, как понимать его: то ли это заявка на дружбу, то ли он, возможно, видит во мне здесь старшего. Но ведь Кротов старше меня по званию и должность у него постоянная, не то что у меня, временного ротного. Я вопросительно поглядываю на комбата, тот недовольно бросает «идите», и я поворачиваюсь к озябшим немцам:

– А ну марш! Марш, фрицуки пархатые!

Глава четвертая

Через минуту мы идем в кукурузе по следу глубоко вдавленных в снег танковых гусениц: Кротов и я – по правой колее, а немцы напротив – по левой. Кротов никак не может примириться со снятием его с должности и зло, в три этажа ругается. Гнев его, как и всегда, имеет определенный адрес и теперь направлен против комбата.

– Обормот! Лакейская морда!..

Немцы покорно шагают рядом – очкастый в мундирчике впереди, за ним тот, что без шапки, – мрачный чернобровый парень, внешностью вовсе не похожий на немца. Пожилой же с трудом ковыляет сзади, то и дело отстает, шмыгая большим простуженным носом. К плену он хорошо подготовился, сразу узнаешь хозяйственного человека – на ремне котелок, фляжка, через плечо перекинута свернутое в скатку одеяло, на боку висит, похожая на охотничий ягдташ, брезентовая сумка. Не удивительно, что и отстает с таким грузом, и я, время от времени оглядываясь, с нарочитой строгостью покрикиваю:

– Шнель! Шнель, фриц!

Передний в очках также поворачивается и, будто старший среди них, что-то лопочет последнему. Я понимаю только:

– Шнеллер, камараде...

Пожилой несколько ускоряет шаг, разбрасывая коленями

заснеженные полы шинели, и ворчит про себя. Кажется мне, в том смысле, что, мол, хорошо тебе, молодому, легко одетому, а я утомился уже, хочу закурить, да и вообще по самое горло сыт войной и фашизмом. Это вполне естественно для него, так как год уже сорок четвертый и немцы на фронте далеко не те, что были в сорок первом.

Передний чем-то похож на унтера, хотя китель на нем без всяких знаков различия. Лицо у него продолговатое, в меру худощавое, с прямым носом и широким лбом – типичное немецкое лицо с сильно развитой нижней челюстью. Под толстыми стеклами очков – настороженные, но, кажется, рассудительные, без злобы глаза. Простоволосый же, что идет следом, выглядит уж очень унылым и мрачным. За все время он не произнес ни единого слова и ни разу не взглянул ни на кого.

Кротов с виду явно безразличен к пленным и то помолчит, то снова начинает ругаться:

– Чуть что из полка – и он уже на задние лапки. Своего мнения не имеет...

Мне кажется, это напрасно. Не такой уж комбат наш и угодливый, каким его представляет теперь обиженный ротный, – просто перед старшими пасует малость, как, впрочем, и многие в армии. Желая несколько смягчить его гнев, я обнадеживаю Кротова.

– Может, надолго не задержат там, – говорю я, имея в виду полковой штаб, куда его вызывают. – Напишете объясни-

тельную и завтра будете в роте.

– А мне наплевать! Пусть задерживают. Что мне, в тылу хуже, чем на передовой? Я о том, почему они придираются с дуру.

– Бдительность.

– Бдительность! Дурость это, а не бдительность. Делать ему нечего, этому бабнику, вот он и цепляется. Ну влезли впотьмах в деревню, не разглядели, не разведали. Так что тут особенного? Что в этом преступного? Ведь ни одного человека не погубили. Разве лучше, если бы в степи пообморозились? Или, как тот дурень Сарафьянов, за два дня всю роту уложил? – рассуждает Кротов, уже не оглядываясь на меня.

Я молча несу на плече свой ППС, глядя на сапоги ротного, которые мнут туго спрессованный снег гусеничного следа. Походка у Кротова энергичная и легкая, какая бывает только у закаленных пехотинцев. Старший лейтенант не признает полушубков и с осени ходит в туго перетянутой ремнями телогрейке. На руках у него теплые овчинные рукавицы на тесемке, перекинутой через шею, и он в гневе широко размахивает ими.

– Приказано атаковать, ну и атаковал. Пока восемь человек не осталось. Небось его за это в особый отдел не потащат!

Да, за это, пожалуй, не потащат, соглашаюсь я. Напротив, могут представить к ордену за усердие и настойчивость в выполнении боевого задания. Кому там разбираться, что Сарафьянов набитый дурак и горлопан, что его давно надо гнать

из батальона? Но комбат наш все же не такой, вообще он неплохой командир, не крикун и не трус. Разве что излишне тянется перед начальством. Однако в армии таких принято считать дисциплинированными.

Кротов, будто угадав мои мысли, возражает:

– Дисциплинированный. Перед каким-то там старшиной расшаркивается, папиросочками угощает. Забыл, что и капитан, что и командир батальона. И если подумать, кто этот старшина? Холуй, самый настоящий.

Я молча вздыхаю. Да, конечно, старшина – невелика шишка, штабной писарь, но вся беда в том, что писарь не простой, не из какой-нибудь хозчасти или финсектора, а помощник и доверенное лицо капитана Сахно.

На повороте танковой колеи я оглядываюсь. Мы прошли по кукурузе уже далеко, батальонная колонна без следа исчезла в вечерней степи. Шашка почему-то нигде не видать. Но ведь старшина догонит, это нетрудно по хорошо приметному следу, а ночь обещает быть светлой. Еще не успело стемнеть, а на безоблачном морозном небе уже вовсю светит цыганское солнце – месяц. Хуже вот, что третий, пожилой, немец все время отстает, видно, устал и на мое строгое «стой!» почти не реагирует. Тогда я бросаю Кротову: «Стой!» Надо подождать, так как все же настает ночь и я, признаться, немного беспокоюсь, как бы этот фриц ненароком не шмыгнул в кукурузу. Старший лейтенант недовольно останавливается, охотно прекращают шаг немцы, и все мы

ждем, пока добредет по колее их «камарад». Кротов, наверное, уже примирился с моим тут командирством, и все же, чтобы смягчить некоторую неловкость, я достаю из кармана два сухаря.

– Хотите погрызть?

Завтракали мы на рассвете еще в Северинке, уже крепко проголодались за день, и потому сухарь кажется необычайно вкусным. Я слышу, как Кротов с наслаждением откусывает от него, и с полминуты мы сосредоточенно грызем жесткие куски. Потом невольно поглядываем на немцев, стоящих напротив, и перехватываем пристальный взгляд очкастого. Жесткий кадык на его длинной шее скользит вверх и вниз. Кротов перестает жевать.

– Что, доняло? – будто впервые заметив пленного, язвительно говорит он. – Навоевался, собачий сын? Жрать захотелось? Держи!

Старший лейтенант разламывает сухарь и бросает кусок очкастому. Тот, сноровисто подхватив его, с удовольствием вгрызается зубами. Рядом сдержанно стоит второй, без шапки, и я засовываю руку в карман. Там еще один кусок сухаря, последний из моей сегодняшней нормы, и я не без сожаления протягиваю его через дорогу. Немец секунду медлит, потом берет сухарь и, отставив нижнюю губу, неопределенно чмыхает. Я не успеваю сообразить, в чем дело, как он коротким взмахом через плечо швыряет сухарь в кукурузу.

Кротов перестает жевать. Какое-то время он молчит с

желваком за щекой, потом, изломив одну бровь, шагает между колеями в снег:

– А ну подбери!

Немец, накупившись, молчит и не трогается с места.

– Подбери, гнида! – жестко приказывает Кротов и, выждав, коротко бьет его в челюсть.

Пошатнувшись, тот, однако, удерживается на ногах, и старший лейтенант кричит почти в бешенстве:

– Сволочи! Вши ползучие! Мою деревню сожгли! Из-за вас меня начальство таскает! На еще, гад!

Немец снова отшатывается, хватаясь рукой за щеку, но так ничего и не произнеся. Своенравное упрямство его и во мне отзывается неподвластной озлобленной вспышкой. Какая-то животная ненависть так и подмывает заехать ему по морде, как это сделал Кротов, и я, чувствуя, что не сдержусь, делаю шаг к Кротову:

– Ладно. Оставьте его!

Пожилой тем временем догоняет нас и, видно смекнув в чем дело, услужливо лезет в кукурузу. Сдунув с сухаря снег, он почтительно подносит его разъяренному Кротову. Тот бьет немца по руке, и сухарь отлетает в снег еще дальше.

– Прочь! Прочь, гады! Я вас всех сейчас!..

Ротный хватается за кобуру на ремне, и я едва успеваю остановить его:

– Бросьте! Ну их к чертовой матери.

Смлив всех троих ненавидящим взглядом, Кротов

неохотно переходит в правую колею.

Вот же гад фашистский, думаю я, приотстав и украдкой наблюдая за немцем. Волосы у того черные, жесткие, к ушам он и не притронется, будто и не ощущает мороза. За всю дорогу не произнес ни одного слова, ни разу не взглянул на нас. Во всей его фигуре чувствуется опасный, затаившийся враг. После случая с сухарем я невольно настораживаюсь и передвигаю свой ППС на грудь: мало ли что еще может выкинуть этот злыдень!

Степь затихает к ночи, но все же множество неясных разрозненных звуков свидетельствует о присутствии вокруг огромной силы войны. Идет наступление. Отзвуки его то и дело доносятся до слуха приглушенным танковым гулом, конским ржанием, далекими взрывами. Где-то на юге, за Кировоградом, пылает край неба: огненное зарево на небосклоне то ширится, разгораясь, то медленно притухает. Откуда-то долетают невнятные голоса людей, наверно, поблизости проходит дорога. Всюду в степи движение, выстрелы, люди. Из кукурузы, правда, мы не много вокруг себя видим...

Глава пятая

Шашок догоняет нас, когда уже устанавливается ночь и в высоком январском небе с острым блеском густо высыпают звезды. В полную силу светит луна. В степи светло, хоть собирай иголки. Густые синие тени неслышно скользят за нами. Тускло сереет кукурузное поле. На краю его мы с Кротовым замечаем подвижную тень. Коня почти не видно в кукурузных зарослях, но над стеблями скользит силуэт всадника. Мы останавливаемся и ждем.

– Фу, думал, не догоню, – с заметным облегчением, что наконец избавился от одиночества в ночном поле, говорит Шашок и придерживает коня. – Ну как, не разбежались фрицы?

– Не разбегутся, – говорю я.

Старшина направляет коня по левой колее и вплотную подъезжает к немцам. Кротов на ходу оглядывается (кажется, он стал спокойнее) и присматривается к всаднику и его лошади.

– Ну что, не откололось?

– Не откололось, – охотно отвечает Шашок. – Заупрямился разведчик. Не хотелось скандал учинять.

Все ясно: Шашок на той самой мухортой лошадке, на которой и приехал в батальон. Значит, Косенко проявил характер до конца. Он такой, наш лейтенант-разведчик!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.